

Ф. Бертран

**НАУКА БЕЗ ОБЪЕКТА?
Советская этнография 1920–30-х гг.
и вопросы этнической категоризации**

В статье рассматриваются проблемы институциональной, научной и социальной легитимации советской этнографии 1920 – 30-х гг. Подчеркивается ведущая роль, которую играла в этом процессе проблематика этничности. Этническая категоризация анализируется в том виде, в каком она конституируется на Совещании этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г., в роли музеев и в научном проекте Н.Я. Марра.

Одним из главных последствий долгого становления – институционального, научного и социального – русской этнографии, в результате которого она заняла свое место в корпусе наук, стало превращение этой дисциплины в специфическую область изучения этнической составляющей (этничности). Основанное на междисциплинарном подходе, опирающемся главным образом на географию, археологию и биологию, а затем и на лингвистику, изучение этничности с трудом подвергалось трансформации, столкнувшись с марксистскими категориями, набравшими все большую силу.

Между тем, именно желание сохранить за этнографией специфику ее объектов и исследовательских методов посредством трансформации и адаптации ее категорий лежит в основе дискуссий в советской этнографии 1920–30-х гг. Конфликтное измерение вводит нас в контекст вопросов вокруг определения этничности. Так, размытость этнографического определения этничности и шире – народности и национальности сравнима только с размытостью этого определения у самого Ленина, когда он обращается к этому вопросу. Для него нация, национальность, народность и народ – синонимичные понятия [1, с. 9]. Что же касается Сталина, то

до 1921 г. он поддерживал идею о несоответствии нации (исторической категории) и племени (категории этнографической).

Разнообразие смыслов, придаваемых этим понятиям, обнаруживается также в способах их представления и продвижения. Если проекты этнической картографии представляют собой энциклопедическое искушение исчерпывающим образом зафиксировать культурные различия на определенной территории, то этнографические музеи, все чаще прибегая к принципу экспозиции «часть вместо целого», благоприятствуют усилению дробления и единичности, свойственных реификации «этнографического настоящего».

Объяснение этничности и выявление ее маркеров, вначале отвергнутое в рамках демонстративного лишения власти немарксистской этнографии, в конечном итоге парадоксальным образом соединилось с марристским научным проектом, который поглотил советскую этнографию в 1930-е гг.

Классификация с меняющимся измерением

В 1920-е гг. понятие «этнос» сосуществует в русской этнографии с понятиями «народность», «национальность», которые в свою очередь связаны с парадигмами каждой из этнографических школ, составляющих то, что мы называем «советской этнографией». Несмотря на его бесспорные качества, актуальность*, междисциплинарную природу, присущую многообещающим союзам с более заметными дисциплинами, влияние понятия «этнос» практически ничтожно. В этом можно видеть одно из последствий перспективной, но в конечном итоге маргинальной деятельности его автора С.М. Широкогорова (1887 – 1939) в Музее антропологии и этнографии (МАЭ) в Петрограде, деятельности, прерванной гражданской войной, которая задерживает его во Владивостоке до его окончательного отъезда в Китай в 1922 г.

Франсин Хирш [5, p. 27, 35] напоминает, что в путанице, царящей в определении категорий и доходящей до уравнивания народности и национальности, понятию «этнос» не удастся завоевать приверженность этнографов-экспертов**. Такое недоверие легко объяснить, если принять во внимание обилие смыслов и их смешение, характеризующее использование категории «этнос». Для автора этого термина этнос, племя или народность – синонимы***, кроме того, он использует термин «группа этносов», не уточняя его возможных синонимов.

*В особом контексте Европы после первой мировой войны французский этнолог Арнольд ван Геннеп рассматривает национальное единство и, шире, единство этноса, как духовную категорию. Действительно, в своем изучении условий создания этнографических карт (картографический символ) Ван Геннеп следует в направлении первого антропологического анализа исторического дискурса как представления (исторический символ) [2, p. 209–211]. Известно, что С.М. Широкогорov употреблял термин «народ» [3, с. 4–7]. В другой своей работе он так разъясняет свою мысль: «... хотя “нации” существуют в реальности <...>, понятие, называемое “нацией”, которое является главным объектом исторических исследований, зачастую лишь чистая абстракция» [4, p. 103–104].

** Этнограф и антрополог Д.А. Золотарев (1885–1935), секретарь Комиссии по изучению племенного состава (КПС) с 1919 по 1921 гг. и ответственный за ее Отдел Европы с конца 1921 г. по конец 1930 г. использует термин «этническая группа». Представляется, что он понимает термин «народность» как «этническая группа» во множественном числе (см. [6, с. 49]). О другой заметной фигуре КПС С.И. Руденко см. [5, p. 178–179].

*** Вот как он определяет этнос: «Любая группа людей, говорящих на одном языке, сознающих свое общее происхождение, обладающая совокупностью обычаев, особым образом жизни, сохраняемыми и специфическими традициями, которые она защищает от других групп, может быть названа этносом, племенем или народностью. Это этническое единство и есть объект этнографической науки» [3, с. 4].

Все эти концепции культурного разнообразия – как лингвистические, географические, биологические, так и социальные – четко отражают позиционирование этнографии по отношению к другим дисциплинам, способным усилить легитимность этнографического подхода и выделить его, предоставив ему объект и место в классификации наук.

Компромисс вокруг понятия этноса?

Почему же это столь мало используемое понятие приобретает такую важность при попытках расшатывания научного течения? Что это – реальное стремление разоблачить непрерывность повседневной практики этнографов или простой предлог для идеологических дискуссий? Возникает вопрос – с чем было связано нежелание оказываться от этнической специфики как основания этнографии, учитывая марксистские попытки захвата институтов и авторизованного дискурса в области национальной политики.

В конце 1920-х гг. этнос заставляет особенно говорить о себе, причем исключительно в негативном смысле, поскольку тогда он становится орудием пропагандистов, средством уничтожения этнографии как особой науки. Именно такой смысл придал ученик лингвиста и археолога Н.Я. Марра В.Б. Аптекарь (1899 – 1937) своему докладу «Марксизм и этногеография», прочитанному на Конференции историков-марксистов СССР (28 декабря – 4 января 1928 г.). Но камерный характер этой конференции несравним с широтой последствий Совещания этнографов Москвы и Ленинграда (5 – 11 апреля 1929 г.). Последующие дискуссии позволяют обрести это понятие, не упоминая при этом ни разу имени Широкогорова. С тех пор этнос становится ставкой в борьбе за легитимность объекта и исследовательских методов этнографии и объединяет самые разные течения, включая и течения внутри самого марксизма.

Это совещание во многих отношениях имеет символическое значение. Действительно, это первое национальное совещание русских этнографов после совещания 1909 г. Организованное Государственной академией истории материальной культуры (ГАИМК) *, предоставившей свое грандиозное помещение (Мраморный дворец), Совещание этнографов Москвы и Ленинграда должно было показать единство советской этнографии перед лицом больших вопросов, касающихся ее будущего, иными словами, показать ее приверженность «марксизации» общества. По крайней мере так можно заключить из большинства изложений в научной прессе, а также судя по той популяризации, которую оно получило [8, с. 110–144; 9, с. 50–51].

Представляется также, что все этнографы, присутствовавшие на этом совещании (кроме, возможно, В.Б. Аптекаря, который присутствует лишь для агитации в пользу яфетидологии), марксисты или нет, собрались не только для фабрикации и официального признания а posteriori парадигматического разрыва, но и для про-

* Академия была создана в 1919 г. и состояла из трех отделов: этнографии, археологии и истории искусства. С самого начала ею руководил Н.Я. Марр; в 1937 г. она была включена в АН СССР. В период с конца 1920-х до конца 1930-х гг. ГАИМК утверждается сначала в качестве цензора советских общественных наук, а затем в качестве проводника сталинской практики этнографии, что превратит эту последнюю в официальную дисциплину, заставляющую в изучении традиционных обществ и в поиске происхождения и низведенную до уровня вспомогательной исторической науки. ГАИМК также включала Комиссию по составлению религиозно-бытовой карты СССР [7, 169].

движения — для одних этнологии, для других этнографии, чтобы доказать ее пользу, убедить в своей компетенции.

Начиная с этого совещания в официальной советской историографии очень скоро стало считаться, — при поддержке части старшего поколения этнографов, — что зародыш новой советской этнографии (ее методов, подходов и целей) образовался вокруг кучки старых политических заключенных, прошедших этнографическую подготовку в месте их сибирской ссылки или в крупных европейских столицах. Всякое отношение пользы, подчинение государственному или частному заказу было таким образом стерто. Советская этнография рождалась в четком соответствии боевым принципам советской власти. В советском контексте утверждение классового происхождения и использование этнографии в качестве идеологического орудия составляет весомый аргумент легитимации.

Для нас важнее всего то, как некоторые этнографы пытались «спасти» этнос, то есть научную легитимность своей дисциплины, погрузив ее в волшебный котел социального подхода. В некотором смысле речь здесь идет о сохранении понятия «этнос», при условии его включения не в тривиальную традиционную сферу естественных наук, но в более приемлемую отныне сферу социологии, или, еще лучше, истории.

Во время Совещания московский историк и этнолог П.Ф. Преображенский (1894–1941) приступает к делу с большой основательностью и осторожностью. Тем не менее, Преображенский выступает с призывом к «деконструкции» понятия этноса. «Я думаю, что и другое понятие, которое здесь несколько раз употреблялось, понятие “Этнос”, имеет смысл только тогда, когда мы берем его не как конечную предельную величину, с которой оперируем как с некой сущностью, которая по какому-то имманентному закону в конце концов станет сущностью метафизической. А важно показать, каким образом этот этнос мог сложиться, откуда он возник. Только в таком случае имеет смысл говорить об этом термине, и употреблять его как конечную величину совершенно не нужно» [10, л. 59–60]. Будучи в течение многих лет приверженцем термина «этнология»*, П.Ф. Преображенский направляет основные усилия на изучение структуры культуры (этноса), которая позволяла бы преодолеть разнородность и разнообразие изучаемых явлений. Этнография, по его мнению, должна выявить основные законы культурного развития. Именно в этом заключается проект П.Ф. Преображенского, направленный на то, чтобы превратить советскую этнологию в науку глобальную, концептуальную, связывающую глубину исторического анализа с релевантностью эмпирического наблюдения в политическом контексте, благоприятствующем выделению культурной специфики. Отвергая все, что теория этноса содержит статического, он придает ей динамику, присущую понятию аккультурации, заимствованному у диффузионистов. Именно поэтому он так яростно противостоял попыткам Аппекаря, придававшего этносу только биологическое и статическое измерение, лишить этнографию этого понятия.

Во время дискуссии идея специализации, по правде говоря, не идет в эмпирическом направлении, то есть к микронаблюдению и созданию специализированных

* В частности, он автор «Курса этнологии», уникального в своем роде, опубликованного в 1929 г. [11].

субдисциплин. Преобладающее направление скорее следует социологической модели а ля Дюркгейм, то есть к большей абстракции, к большей теоретичности. Должна ли этнография стать социологией? Во всяком случае, по мнению Преображенского, это один из возможных и желательных вариантов.

Независимо от того, «социологизируется» ли советская этнография или «историзируется», П.Ф. Преображенский продолжает связывать некоторые ключевые понятия и практики «культурно-исторической школы» (аккультурация и диффузия) с понятиями и практиками, поддерживаемыми марксистами в этнографии, особенно в отношении маркеров идентичности, таких, как языковое или этническое единство. Это неустойчивое равновесие и хочет сохранить Преображенский и его ученики. Стремясь поддержать свой проект слияния диффузионизма и марксизма при сохранении за понятием этноса его научной релевантности, П.Ф. Преображенский выделяет три главные цели этнографического исследования. Помимо историзации и изучения скрещений, «третьей и, может быть, основной задачей является исследование самих культурных кругов, которое предлагал Гребнер. Но здесь, я должен оговориться, мне представляется понятие “культурный круг”, – тем более что он развивал старое, привычное нам понятие этнос-народ, – крайне не плодотворным. Здесь можно было бы ввести в нашу науку новое понятие, которое (я не претендую ни на оригинальность, ни на обязательность введения этого понятия) я охарактеризовал бы понятием технико-хозяйственного ареала-площади» [10, л. 19].

Если П.Ф. Преображенский со своей стороны выступает за социологизацию советской этнографии, которая должна обеспечить ей часть ее научной легитимности, свойственной новому политическому контексту, область ее приложения еще предстоит определить. Такая позиция в условиях последовательной «марксизации» советской социологии вплоть до ее сведения к вспомогательной ветви марксистской философии могла лишь значительно уменьшить ее значение.

С одной стороны, некоторыми участниками совещания поддерживается простой отказ от междисциплинарного и академического измерения этнографии, с другой, некоторые представители «марксистского» направления, такие, как ленинградский этнограф Я.П. Кошкин (1900–1938), обнаруживают непоколебимую верность энциклопедическому духу, привнесенному одним из отцов-основателей советской этнографии Л.Я. Шпернбергом (1861–1927) (см. в особ. [12]). Действительно, в своем выступлении 9 апреля Я.П. Кошкин ничего не говорит о своем неодобрении понятия этноса. Он критикует классификацию и определение основных компонентов культуры, данные Широкогорвым в работе 1923 г.* : «Насколько трудно бороться в этнографической области с идеалистическими проявлениями... чтобы это показать, я приведу такую цитату. Есть известный этнограф Широкогоров, он издал книгу “Этнос” и в ней он определяет задачи этнографа следующим образом “Этнограф изучает проявления умственной и психической деятельности человека, т. е. его материальную культуру, т. е. знание в области строительного искусства, одежды и т. д. Во-вторых, его социальную культуру, т. е. организацию общества.

* Рождение понятия «этнос» обычно связывается с выходом в 1923 г. книги С.М. Широкогорова «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений» [13], достаточно поздно переведенной на английский (1934) и с сокращениями на французский (1936). См. [14, с. 54–57].

В-третьих, его духовную культуру, т.е. религию, философию. Следовательно, этнограф изучает материальную культуру, социально-экономические условия и религию". Формы всего этого возникли на этнографической базе» [10, л. 452-453]. В числе тех, кто вступает в полемику с целью доказать, что отбрасывая понятие этноса, этнографию лишают ее специфики, мы также обнаруживаем историка-марксиста Никольского. Обращая ситуацию в свою пользу, Никольский представляет образец стиля выступлений, который позволит этнографам разных течений прийти к компромиссу, заключающему это совещание: «Я с т. Аптекарем спорил в 1928 г., что т. Аптекарь исходит из практики; он построил свой доклад на том материале, который ему дала комиссия. Если бы мы попробовали какой-нибудь реальный вывод сделать, то, мне представляется, вывод надо сделать такой. т. Аптекарь признает существование этноса. Тут некоторые видели успех в том, что Т. Аптекарь переделал свои тезисы, с которыми он выступал в Комакадемии в 1928 г.; оказывается, у него действительно "этнос" был, но за горячей дискуссией мы как-то не заметили. В 10 тезисе: "Этнос" народность, с марксистской точки зрения историческая категория, порожденная общественно-производственными отношениями...» [10, л. 216-217]. Разумеется, это выступление, очень важное для понимания значения дискуссии, никогда не фигурировало в изложениях, по которым впоследствии была написана история институционализации советской этнографии этого периода.

Кроме В.Б. Аптекаря линию обвинения понятия этноса поддерживает С.П. Толстов (1907-1976), ученик П.Ф. Преображенского. Самое примечательное в этих дискуссиях то, что как для С.П. Толстого, так и для В.Б. Аптекаря отказ от этноса — лишь средство пошатнуть тех из их противников, которые занимали наиболее престижные позиции, особенно московских и ленинградских представителей палеоэтнологической школы. Интересно также, что С.П. Толстов за три года до этого поддерживал изучение этноса в качестве структуры [15, с. 224]. Тогда под руководством Преображенского он пытался связать марксизм и диффузионизм, рассматривая понятие этноса сквозь призму аккультурации, скрещения и приходя тем самым к некоторым ключевым позициям яфетической теории, развиваемой Марром — на совещании же он стремится реабилитировать себя за эту неудачную попытку.

Научные основания конструирования этнической единичности: роль музея

Для небольшой группы советских профессиональных этнографов специфику этнографии составляет стремление выработать «этнический портрет» изучаемого народа с целью зафиксировать «этнические» особенности, как антропологические, так и этнологические, чтобы лучше их объяснить [16, с. 87].

Можно с полным основанием задаться вопросом о важности, которую советские этнографы придают тому факту, как называется объект их исследования — этнос, народность или национальность. Но не является ли обычной практикой в рамках самой научной деятельности отказ, искажение или придание большего значения использованию некоторых терминов? При изучении дискуссий на Совещании этнографов Москвы и Ленинграда складывается такое впечатление, что его участники стремились выработать относительный консенсус не столько по поводу обозначения, сколько по поводу самой сути исследовательского объекта, определяющего специфику методов этнографии. Отсюда следует вопрос о придании ей большего значения. Естественно, что параллельно мы обнаруживаем те же дис-

куссии и те же вопросы вокруг способов музейного представления этнического разнообразия. Именно здесь находится институциональное измерение, которое напрямую связано с процессом легитимации советской этнографии 1920–30-х гг. В ответ на многочисленные попытки расшатывания дисциплины возникают проекты, которые стремятся укрепить этнографию на ее традиционной академической основе, которой является музей.

Начало 1920-х гг. отмечено острой полемикой между теми этнографами, которые хотят организовывать экспозиции для широкой публики, и теми, кто противится этому во имя «науки» [17, с. 78–79]. Как бы то ни было, по традиции этнографическая экспозиция строится на легитимном принципе демонстрации этничности по географическим зонам. В 1925 г. по случаю двухсотлетия Академии наук издается ряд небольших брошюр, описывающих историю и деятельность различных относящихся к ней музеев. В августе выходит брошюра, посвященная МАЭ. В заключении можно прочесть принадлежащие, вероятно, Л.Я. Штернбергу строки: «Вместе с тем Музей выполняет функции самостоятельного исследовательского института. Задача его работников не только хранить и научно обрабатывать накопившиеся в Музее материалы, но экспедиционным путем собирать новые материалы путем стационарного всестороннего изучения необследованных народностей, как в пределах СССР, так и во всех частях света» [18, с. 27].

Год спустя этнограф-славист Б.Г. Крѣжановский (1886–1937), ответственный за славянскую область внутри этнографического отдела Русского музея, выпускает брошюру, целиком посвященную «Принципам экспозиции этнографического музея». В ней он пишет: «Основной единицей в экспозиции этнологического музея является народность. Народности, принадлежащие к одной этнической группе, экспонируются в непосредственном соседстве одна с другой, сохраняя, по возможности, последовательность их географического расселения. Гораздо труднее сохранить такую последовательность для этнических групп. Здесь дело осложняется существованием народностей, как бы отбившихся от всей группы и оказавшихся изолированными среди племен иной группы, или же народностей, на которую претендуют разные группы (напр. чуваша)» [19, с. 5].

Как в силу традиции, так и в соответствии с моделью статистики или этнической картографии, ведущим принципом экспозиций основных этнографических музеев остается часть вместо целого, особенно в виде синтеза различных источников. Этнографическая экспозиция осуществляется главным образом посредством наложения масштабов (макро–микро) по принципу географического разделения и соседства выставляемых этнических групп. Наконец, цель экспозиции объектов и представления повседневной жизни состоит в «показе» единичности. Такая этническая типология материализуется посредством значимости объекта и особенно костюма (с четким выделением декоративных мотивов), орудий (даже оружия), а также жилища. Тематические разделы (одежда, жилище, экономическая деятельность и т. д.) отражают наиболее богатые сферы повседневной деятельности представляемой группы. Этот принцип будет одно время подвергнут сомнению из-за марристского наступления на социальные науки и археологию.

Так, разнообразные дискуссии возникают вокруг вопросов, касающихся преобладающей роли объекта в музейной деятельности. В ситуации теоретических конфликтов, которые разрывают представителей доминирующего, т. е. марристского,

течения в археологии, обращение к образу приобретает особую актуальность. Борьба за наследование должности Н.Я. Марра как руководителя ГАИМКа, которая сталкивает С.Н. Быковского (1896–1936) с Ф.В. Кипарисовым (1886–1936), разумеется, отражается и в области теории. Их расхождения во мнениях о месте объекта в качестве исторического источника приводят как центральные, так и региональные музеи к серьезному переосмыслению своей практики экспозиции [20, с. 152]. Пренебрежение объектом обосновывается тем, что он не несет достаточно элементов, указывающих на его происхождение. Таким образом, некоторые музеи в своих экспозициях предпочли заменить объекты текстами и иллюстрациями, нежели продемонстрировать «недостаток вкуса». Действительно, во время усиления коллективизации присутствие или отсутствие некоторых объектов образа жизни могло быть неправильно истолковано. Это приводит к систематизации обращения к вводным частям, состоящим из лозунгов, иллюстраций, чаще всего взятых из прессы, статистических таблиц и схем. Это позволяет историку русской и советской этнографии Т.В. Станкович говорить о настоящих «бумажных» экспозициях* [21, с. 200].

Тем не менее, музей остается привилегированной ставкой в проектах институционализации. На протяжении 1930-х гг. советские этнографы обладали достаточно значительным полем действия, что позволило им инициировать множество проектов институционализации, которые в конечном итоге позволили этнографии укорениться, более или менее прочно, в разнородной совокупности педагогических, университетских институций, исследований и даже экспертизы как в Ленинграде и Москве, так и в регионах. Несомненно, совсем недавно введенная в университете и часто еще в качестве необязательной дисциплины этнография сохраняет свое традиционное место в академических и региональных музеях, которые продолжают служить основой будущих (или настоящих) исследовательских институтов, а также некоторых учреждений, осуществляющих экспертизу. Между тем, необходимо отметить, что в целом, несмотря на значительные достижения в области институционализации, советской этнографии нечасто удается говорить от своего имени.

В начале 1930-х гг. значимость музея как центрального института развития этнографии подтверждается — во многом благодаря Н.М. Маторину (1898–1936), который с 1929 г. был ответственным за контроль за этнографией в государственном масштабе. Это позволило этнографии как можно скорее получить свое — поскольку сеть этнографических музеев уже существует, — на институциональной основе, позволяющей усилить ее легитимность. Затем, начиная с 1931 г. это решение становится тем более жизненным, чем более оно приобретает характер отступления после неудавшихся попыток остаться, автономно и легитимно, внутри университета. Наконец, решение сделать этнографические музеи местом исследования *par excellence* позволило этнографии расположиться на стратегическом

* Эта практика описана также В.А. Прищеповой: «Для работы музеев в целом, и для МАЭ в частности, в 1930-х гг. была характерна недооценка роли предметов. Увлечение плоскостным материалом, лозунгами, цитатами, схемами, фотографиями, статистическими таблицами наложило отпечаток также на собирательство, в результате которого в фондах скопилось много бумажных материалов...» [22, с. 15].

перекрестке между институциональной, научной и социальной легитимностью. Последний момент тем более важен, что посредством экспозиций этнографы могли надеяться завоевать признание публики. Кроме того, поскольку музеи могли получать прибыль, в частности, от продажи билетов и других предметов, связанных с выставками, эти институции могли финансировать некоторые работы, например публикации. Между тем симптоматично, что Н.М. Маторину не удается осуществить слияние «в один комбинат» этнографического отдела Русского музея и МАЭ в Объединенный музей народоведения [7, с. 165]. Вместо этого в 1933 г. будет создан Институт антропологии и этнографии (ИАЭ).

Несмотря на значительный разрыв сетей этнографических музеев в связи с чистками, поразившими движение краеведения, и на отказ от музейного объекта, музеографический подход продолжает существовать. В 1934 г. отдел этнографии Русского музея Ленинграда становится Государственным музеем этнографии народов СССР (ГМЭ). В следующем году был реорганизован Центральный музей народоведения (ЦМН)*. Превратившись в Музей народов СССР, расположенный в Москве и помещенный под прямой контроль ЦК партии, он получает признание, что позволяет ему организовывать экспедиции, собирать коллекции и развивать экспозиции [23, с. 134]. Это явление развивается вместе с возвратом к «клише»**, касающимся разнообразия культурного состава СССР.

Этническое измерение научного проекта Н.Я. Марра

Критика понятия «этнос» была облегчена тем, что С.М. Широкогоров не сумел предупредить некоторые возможные искажения, свойственные категориям с такими прилгзаниями. Даже если он высказывается за отказ от теории расы, он сохраняет понятие «биологическое превосходство», которое сравнивает с геологической мощностью [4, р. 105]. Каковы бы ни были намерения автора, двусмысленности постоянно накапливались и предлагаемая теория этноса во многих отношениях была настолько удобна для сверхинтерпретации и порой так мало отличалась от расовой теории, что можно легко понять причины, по которым многие советские этнографы ее остерегались. Эта сдержанность также обнаруживается и в отношении проекта лингвиста-археолога Н.Я. Марра (1864 – 1934), который стремился заменить «скифскую» парадигму парадигмой «яфетической»***. Кроме того, между двумя учеными обнаруживается сходство мнений по конкретному вопросу****.

* Этот музей был создан в 1924 г. на базе Музея Румянцева по инициативе Б.М. Соколова (?–1930), фольклориста и этнографа, который стал его первым директором.

** См. замечательное исследование И. Слезкина о различных представителях народностей Севера, знаменитых «малых народах Севера» в советский период [24].

*** Научный проект Н.Я. Марра, организованный вокруг различных понятий (автохтонность, стадильность, четыре примордиальных элемента: SAL, BER, YON, ROH), первоначально был поиском ответа на загадку происхождения языка, которое Марр возводил к эзотерическому и вымышленному субстрату так называемых яфетических языков, по имени библейского персонажа Яфета, третьего сына Ноя. С конца 1920-х гг. этот проект, удостоившийся звания марксистского подхода в результате реорганизации гуманитарных и социальных наук, постепенно становится единственным легитимным подходом в области этногенеза.

**** Это сходство выражено следующим образом: «Если где-то существуют следы исчезнувшего языка среди населения, которое на нем не говорит, наряду с распространением этнических единиц, которые все еще говорят на нем или говорят по крайней мере на непосредственно вытекающем из него языке, мы можем считать, что на данной территории происходил процесс господствующего этноса» [4, р. 107].

Важность этнической специфики не следует понимать лишь как ставку внутреннего характера, следующую только правилам процесса легитимации научной дисциплины. Сохранение в течении 1930-х гг. двойственного отношения отказ/присвоение в изучении этнической специфики и сопровождающей его терминологии должно позволить лучше понять значение, которое Н.Я. Марр придавал захвату этнографического исследования с целью осуществить свои чаяния, связанные с перспективами открываемыми сталинской национальной политикой.

В самом деле, известна странная двойственность Н.Я. Марра по отношению к вопросу этнической специфики [25; 26]. В одном тексте 1927 г. Н.Я. Марр предлагает свое определение национальности: «Национальность ныне определяется в самом зародыше, как явление исключительно социальное, человеко-социальное, не физического или зоологического порядка. Каждая национальность – переживание определенного этапа развития в истории человечества, в эволюции его хозяйственно-политической жизни, или частичное, или целостное, т. е. мировое» [27, с. 235–236]. На Первой конференции историков-марксистов, проходившей с 28 декабря по 4 января 1928 г., Н.Я. Марр обнаруживает замешательство в области терминологии [28, с. 173]. С 1920 г. Марр систематически противостоит любой идее культурной специфики, которую он связывает с известным отныне благодаря яфетидологии процессом стадийного развития [27, с. 236]. Что касается собственно понятия этноса, Марр притворяется, что оно трудно доказуемо, и в то же время он отстаивает его предпочтительность в качестве объекта изучения [29, с. 42]. В своей работе, посвященной яфетическому Кавказу (1920), Марр без колебаний говорит и об автохтонности, и о народе-родоначальнике, и о диффузии, тем более о миграции [25, с. 28]. В своем неповторимом стиле Марр говорит даже о существовании «чистых» яфетидов [25, с. 31]. Он идет еще дальше, связывая яфетидов с мифическим народом библейского происхождения [25, с. 43]. Впоследствии Марр пытается «доказать» яфетическое происхождение индоевропейских языков. Пространство Средиземноморья, где пересекались пути индоевропейских, семитских и хамитских языков единственное способно предоставить ему достаточно данных для его заключений. Таким образом Марр постулирует, что такие индоевропейские средиземноморские языки, как иберский и этрусский, были автохтонными и внутри яфетический племенной среды [30, с. 187–188].

Итак, автохтонность стала одним из столпов яфетидологии. Именно автохтонность будет играть определяющую роль в увековечении марристского дискурса путем мифической двойственности, т. е. возможности националистского сдвига, коренящегося в этой двойственности, который Н.Я. Марр с трудом пытается удержать. Но ему не удастся понять использование искажений его теории, которые позволяют говорить, например, об осетинском Кавказе. Марр упорно отвергает всякую слишком конкретную и актуальную этническую идентификацию. Между тем этот бой совершенно напрасен, поскольку Марр всей своей деятельностью дает региональным элитам инструмент националистского мифотворчества. Если в его первых советских работах мы не находим и следа подлинной теоретической основы эволюционистского или даже диффузионистского типа, тем не менее Марр выражает моногенистские убеждения и явный интерес к явлениям аккультурации. С годами толкователи Марра превратят его творчество в явно эволюционистское и ан-

тидиффузионистское. Нужно ли прояснять смысл последнего термина? Само собой разумеется, что для Марра необходимость технологического заимствования имеет смысл лишь потому, что металлургию в Средиземноморье распространяют «его» яфетиды.

Постепенный «импорт» марристской тематики в этнографическое исследование привел к определенной форме конфискации этнической картографии. Яфетическая теория – великая поглотительница топонимических данных, взятых непосредственно из переписных листов. Марр много трудился над тем, чтобы после выпуска КИПС и последующего создания ИПИНа кавказский сектор ИПИНа единственный получил право продолжать картографическую деятельность (Северокавказский регион) по данным переписи 1926 г. Все остальные сектора ИПИНа постепенно стали заниматься в основном индустриализацией, условиями жизни женщин и детей в колхозах [7, с.159]. Это показывает, насколько изменились планы работы ИПИНа по сравнению с тем, как они были публично заявлены во время открытия нового института в феврале 1930 г. Тогда планы предусматривали, в продолжение деятельности КИПС, создание этнографических карт СССР для школьников, создание ежегодного справочника народов СССР, а также подготовку этнографического атласа СССР в масштабе 1:420000 [31, с. 86].

Двойственные последствия марристской победы

В 1930-е гг., в ответ на требования «марксизировать» марризм и вместе с ним этнографию, интерес к этнической специфике необычайно возрастает. Еще вчера бывшая элементом фашистской аргументации, этничность с конца 1930-х гг. совершает любопытный поворот и находит свое место в марристских теориях.

Входящий в планы этнографии с 1932 г. этногенез, разумеется, институировался в специфическое поле исследования задолго до этой даты. Со своей стороны Н.Я. Марр с начала 1920-х гг. сосредотачивал свое внимание на «этногонии». Он утверждал, что все народы Земли вышли из одного источника. Подхваченный яфетидологией, этот поиск происхождения народов привел к представлению общества как результата последовательных скрещений в ходе одних и тех же стадий одной экономической и социальной эволюции. Кроме того, эти социальные группы увеличиваются, по мере того как они интегрируют другие группы и переходят на новую стадию. Эта концепция получила у Марра имя стадильности, или теории стадильного развития.

До начала 1930-х гг., согласно классическим положениям стадильности, поскольку язык – это суперструктура, появление нового языка связывалось с потрясениями экономических и общественных формаций. Так Н.Я. Марр объяснял то, что яфетические языки дали начало индоевропейским языкам во время открытия, а затем распространения металлургии.

Ученик Н.Я. Марра в области этнографии, хотя сам не этнограф, С.Н. Бьковский использует ту же логику для объяснения эволюции общества, которые, переходя от небольших тотемических групп к клановой организации, стали племенами. Племена ведут к народам, а те, посредством мировой социалистической революции, достигают наиболее высокого уровня – международного коммунистического общества [32, с. 55]. Так на фоне стадильности и поиска происхождения С.Н. Бь-

ковский доводит марристскую логику до рассмотрения расы как суперструктуры. Если же необходимо подтвердить переход и родство между различными группами с помощью археологических раскопок, следует избегать всякого патриотического перегиба, связанного с отождествлением народа с его происхождением, которое может восходить благодаря стадиальности в глубь веков. Марристы не забывают, что этничность не что иное, как стратификация, момент общества, обреченного на трансформацию, как и все остальное.

Так яфетиды дали начало киммерийцам, чьими потомками являются скифы. Последние, в свою очередь, являются созидющим источником для славянской и финской групп. Для С.Н. Ёжковского и для марристов в целом киммерийцы не составляют специфического единства, которое можно назвать народом. Они являются одной из стадий, одним из обязательных переходов в развитии всякого этноса на пути к коммунизму [33, с. 79]. Ничто не вечно – ни язык, ни культура, ни религия и особенно раса. Стремление марристов освободить понятие расы от всякой ссылки на первоначальное состояние чистоты можно связать с расцветом расистского течения в немецких общественных науках 1930-х гг.

Главная роль таким образом отводится идее автономного развития, которое осуществляется постоянно и непрерывно, переходя от стадии к стадии до классового общества посредством интеграции соседних групп [33, с. 74; 32, с. 53]. Таким образом, в линейном представлении стадиальной эволюции обществ марристы отодвигают на второй план последствия или даже само явление перемещения народов и миграций.

С 1932 г. марристы видят в использовании самого термина «миграция» отказ от первоначального субстрата, отрицание культурной преемственности. Кроме миграции, марристы нападают на всякое объяснение, опирающееся на биологическое или генетическое доказательство. Марр менее категоричен, поскольку, несмотря на участие в публикации под редакцией Н.И. Вавилова (1887 – 1934) о происхождении domestikации животных, он говорит, что его менее интересует генетика, нежели генетику яфетидология [34, с. 13].

Между тем, в отношении Н.И. Вавилова множатся перегибы и акты ревности. В глазах учеников Н.Я. Марра, теория, которую защищает Вавилов, может привести к шовинистской интерпретации в той мере, в какой можно связать, посредством стадиальности, географическую зону и народ с происхождением земледелия. Кроме того, согласно Вавилову, распространение культурных растений может происходить лишь посредством ассимиляции и миграции. Ибо для марристов миграционистская теория есть синоним расизма, а расизм – синоним фашизма. Это убеждение лежит в основе аргументации работы Г. Григорьева «К вопросу о происхождении культурных растений» (1932) с предисловием С.Н. Ёжковского [33, с. 78].

В конце драматического пути, который приведет С.Н. Ёжковского, Ф.В. Кипарисова и В.Б. Аптекаря к расстрелу, можно задуматься о том, стоит ли объявлять о победе марризма – ведь сами марристы так дорого заплатили за официальное признание теории, которой столько манипулировали и которую столько раз переформулировали и даже предавали. Можно ли говорить о победе, если наступательным теориям «экспансии и цивилизационных миграций германцев» марристы в качестве обороны противопоставляли автономное и автохтонное развитие европейских обществ, в частности славянских, – подход, который будет переживать постепен-

ные изменения вплоть до реабилитации понятий этничности, национальной гордости и культурной специфики?

Победу, бесспорно, одержали польза и пластичность этнографии и марризма, гарантирующих долговечность ярлыка «маррист» за неимением гарантии содержания.

Как можно представить себе этнографию без объекта исследования? Но это вполне могло произойти в 1930-е гг. во время различных дискуссий и позиционирования относительно научного статуса этничности, которую, тем не менее, яростно защищали ведущие советские этнографы – как в силу своих политических или гуманитарных убеждений, так и из прагматических соображений. Чтобы быть жизненным, сам принцип представления этнической дифференциации как основного элемента этнографического исследования должен подвергаться категоризации, исчислению, иллюстрации и экспонированию, чтобы быть воспроизводимым, используемым, понятным и, наконец, легитимным.

В становящейся советской этнографии понятие этноса не играло, следовательно, той роли, которую ей приписывал С.М. Широкогоров. Между тем отношения, которые поддерживали его автор и крупнейшие представители русской этнографии до его отъезда за границу в 1922 г., свидетельствуют о скромном, но подлинном воздействии его научного проекта.

Этнос, будучи одним из концептуальных инструментов, получил, особенно в конце 1920-х гг., очень двойственное использование на некоторых ключевых этапах легитимации советской этнографии. По крайней мере два раза он становился предметом убеждений у некоторых марксистско-марристских пропагандистов в их попытках расшатывания различных течений советской этнографии.

Менее легитимный, нежели категория народности или национальности, этнос, который не фигурирует ни в одном вопроснике и ни в одной статистике, можно рассматривать как понятие для внутреннего пользования, как предмет академических дискуссий, как ценность, выражающую стремление этнографов сохранить «нормальность» своей дисциплины, связанной с междисциплинарным изучением констант или структур соматического, технологического и социального развития микроробществ.

Разнообразие используемых категорий классификации, несомненно, связана с разнообразием легитимностей, на которые опираются течения, обращающиеся к той или иной категории. Между тем, единство способа использования научной легитимности объекта исследования удивительно даже для советской этнографии. Действительно, способ выражения этой научности проходит главным образом через ограничения, свойственные институту, практически единственному, где она разбивается: музею.

Перекрестное изучение судеб категории этничности и расы в 1920–1930-е гг. позволило бы лучше понять механизмы, которые привели советских этнографов, археологов и антропологов к переосмыслению их концептуальных рамок через призыву «марксистской науки». Этот принцип иллюстрируют некоторые экспозиции по этнографии и физической антропологии: понятие расы теряет все возможные связи с общественной совокупностью и связывается с понятиями социальной совокупности, такими, как нация, народ, класс и сословие.

Литература

1. Крюков М.В. Читая Ленина (размышления этнографа о проблемах теории нации) // Советская этнография. 1989. № 4.
2. Genep A. van Trait e comparatif des nationalit es. Paris: Editions du C.T.H.S, 1995. (1921)
3. Широкогоров С.М. Место этнографии среди наук и классификация этносов. Владивосток: Свободная Россия, 1922.
4. Širokogorov S.M. La th orie de l'ethnos et sa place dans le syst eme des sciences anthropologiques // L'Ethnographie. 1936. № 32.
5. Hirsch F. Empire of Nations: colonial technologies and the making of the Soviet Union (1917-1939). Ph D. History. Princeton: Princeton University, 1998.
6. Золотарев Д.А. Работа Комиссии Всесоюзной Академии Наук по Изучению Племенного Состава (1917 - 1927) // Научный работник. 1927. № 12.
7. Хроника // Советская этнография. 1931. № 1-2.
8. Этнография. 1929. № 2.
9. Человек и природа. 1929. № 8.
10. Стенограмма Совещания этнографов Москвы и Ленинграда (5-11 апреля 1929 г.) // Архив Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Фонд К-1. Опись 3. Дело № 7.
11. Преображенский П.Ф. Курс этнологии. М., 1929.
12. Shtemberg L. Ia. The social organization of the Gilyak // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. 1999. № 82. April.
13. Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
14. Широкогоров С.М. Этнографические исследования. Книга первая. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2001.
15. Культура и быт населения. Этнологические исследования и материалы // Материалы 2-го совещания этнологов центрального промышленного района. 7-10 декабря 1927 г. М., 1929.
16. Шангина И.И. Русский фонд этнографических музеев Москвы и Санкт-Петербурга. История и проблемы комплектования (1867-1930). СПб., 1994.
17. Шангина И.И. Этнографические музеи Ленинграда в первые годы советской власти (1918-1923) // Советская этнография. 1987. № 5.
18. Музей Антропологии и Этнографии (МАЭ). Ленинград, 1925.
19. Кръжановский Б.Г. Принципы экспозиции этнографического музея // Музейное дело. 1926. № 4.
20. Ивановская Н.И. Этнографические собрания в областных музеях Северо-Запада РСФСР (генезис и история формирования) // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России (XIX - XX вв.). Санкт-Петербург: Государственный этнографический музей. СПб., 1992.
21. Станкович Т.В. Этнографическая наука и музеи. Ленинград: Наука, 1978.
22. Прищепова В.А. История формирования коллекционных фондов отдела Средней Азии и Казахстана МАЭ (конец XIX - первая половина XX вв.). Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. истор. наук. Л., 1991.
23. Шангина И.И. Концепция комплектования собраний этнографических музеев (30-50 годы XX в.) // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России (XIX-XX вв.). Санкт-Петербург: Государственный этнографический музей. СПб., 1992.
24. Slezkin Y. Arctic mirrors. Russia and the small peoples of the North. Cornell: Cornell University Press, 1994.

25. Марр Н.Я. Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании средиземноморской культуры // *Материалы по яфетическому языкознанию*. XI. Лейпциг, 1920.
26. Бьковский С.Н. Яфетический предок восточных славян – киммерийцы // *Известия ГАИМК*. 1931. Т. VIII. Вып. 8–10.
27. Марр Н.Я. Значение и роль изучения меньшинства в Краеведении // *Марр Н.Я. Избранные работы*. Т. 1. М.; Л.: ГАИМК, 1933.
28. Марр Н.Я. К вопросу об историческом процессе в освещении яфетической теории // *Марр Н.Я. Избранные работы*. Т. 3. М.; Л.: ГАИМК, 1934.
29. Марр Н.Я. К бакинской дискуссии о яфетидологии и марксизме. Баку, 1932.
30. Марр Н.Я. Иберо-этрusco-италская скрещенная племенная среда образования индоевропейских языков // *Марр Н.Я. Избранные работы*. Т. 1. М.; Л.: ГАИМК, 1933.
31. Худяков М.Г. Институт по изучению народов СССР (ИПИИ) // *Этнография*. 1930. № 4.
32. Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // *Этнографическое обозрение*. 1993. № 3.
33. Формозов А.А. Археология и идеология (1920–1930) // *Вопросы философии*. 1993. № 2.
34. Марр Н.Я. Доистория, преистория, история и мышление. К вопросу о методе и кадрах по общественным наукам. Ленинград: ГАИМК, 1933.